

Валерий Бочков

РИСОВАЛЬЩИК

ОТ АВТОРА

В Испании наступает сезон корриды. В Мексике — сезон петушиных боев. В России снова рушится империя. Скверно, когда страсть и похоть ты принимаешь за безумную любовь, еще хуже, если такое случается с тобой в сорок лет, и уж совсем плохо, когда все это совпадает с гибелью страны, в которой ты родился и вырос.

Ты пытаешься заткнуть дыру в своей душе любовью. Но дыра слишком велика — размером со вселенную. А то, что ты принимаешь за любовь, — это страх. Страх одиночества и смерти. Страх — очень неподходящий материал для затыкания пробоев в душе.

Лишь любовь дает бессмертие. Они неверно трактуют бессмертие как отсутствие смерти. Глупцы. Вечная жизнь — страшная кара. Бесконечная пытка.

Часть первая

АВТОПОРТРЕТ С САСКИЕЙ НА КОЛЕНЯХ

Револьвер мне продал Терлецкий. Привез утром. Раздеваться не стал, прошел напрямик на кухню. От чая тоже отказался, сказал, что спешит. Мы сели напротив друг друга — он в плаще, я в махровом халате. За окном серело московское небо, середина июля походила на глухой ноябрь. Лето закончилось, не успев начаться.

Терлецкий вытащил из кармана тряпочный сверток, положил на стол. Из другого кармана достал коробку. Протянул мне. Кар-

тонная коробка, меньше сигаретной, оказалась неожиданно увесистой. Я подцепил ногтем крышку; внутри, туго упакованные, будто в сотах, медными доньшками блестели патроны.

— Какой калибр, Гоша? — Я указательным пальцем провел по маслянистым капсюлям.

Терлецкий как-то странно взглянул на меня и не ответил. Развернул тряпку.

— Итальянский, — он взял револьвер, — барабан на пять патронов. Устроен элементарно — вот, смотри...

Он оттянул под стволом какой-то штырь, похожий на шомпол. Ловко откинул барабан в сторону. От пистолета воняло маслом, как от швейной машинки моей покойной бабушки. Я протянул руку.

— Погоди, — Терлецкий достал из коробки патроны и методично один за другим начал вставлять их в барабан, — ... три, четыре... Пять.

Барабан встал на место с металлическим щелчком, как у надежного дверного замка. Бравым жестом шерифа из вестерна Терлецкий крутанул барабан — ладонью. Внутри маслянисто застрекотал оружейный механизм.

— Вот и все! — Терлецкий опустил револьвер на тряпку, понюхал пальцы.

На плите, захлебываясь в быстро нарастающей истерике, зашвистел чайник. Я встал и выключил газ. Сходил за деньгами, вернулся. Терлецкий курил, стоя у окна. Дотянулся, открыл форточку, стряхнул туда пепел. В кухню ворвался уличный гам, гудки машин, вонь бензина. На затылке Терлецкого проглядывала заметная плешь; интересно, он знает, что начал лысеть?

— Вот идиоты... — Не поворачиваясь, он добродушно прокомментировал что-то, происходящее на перекрестке: — Нет, ты только посмотри на троллейбус...

Наша утренняя пробка рассосется только к полудню. Наверняка Яуза забита до Лефортово. У съезда на набережную вечный затор. Иногда даже ночью. Какой-то дурак догадался поставить стрелку на выезде с Таганки года три назад и превратил перекресток в шоферский ад.

— И еще... — Терлецкий щелчком отправил окурок на улицу и захлопнул форточку — сразу стало тихо. — И еще...

Он повернулся, посмотрел на пачку купюр в моей руке.

— Это, — он кивнул в сторону револьвера на столе, — лицензия на убийство. Твое убийство, понимаешь?

Я не понял, но кивнул.

— Никогда не пытайся напугать, если достал — стреляй. Ты не в кино, это в фильмах ведут разговоры с пистолетами в руках. Для серьезного человека пистолет в твоей руке — сигнал к немедленно-му действию. И действие это...

Он щелкнул пальцами перед моим носом и подмигнул. Без улыбки.

Я неуверенно пожал плечами, посмотрел на револьвер. Тряпка, на которой он лежал, была не только в желтых разводах ружейной смазки, на ней темнели бурые пятна чего-то красного, засохшего — тошнотворного.

— Это, — не касаясь, я ткнул пальцем в красное. — Что это, Гош?

— Это? — Он взял тряпку, покрутил в руках, поднес к носу. — Думаю, сацебели.

На углу тряпки я разглядел вышитый орнамент и слово «Арагви».

— Сацебели, — повторил Терлецкий. — Для ткемали слишком красный.

1

Когда вчера вечером позвонили в дверь, я уже был прилично пьян. Что оказалось весьма кстати, поскольку дальнейшее напоминало невразумительный бред, воспринять который адекватно на трезвую голову у меня вряд ли хватило бы здравого смысла. Был, правда, и минус: спяну я даже не посмотрел в глазок, а сразу открыл дверь. Моя хмельная уверенность, что это вернулась Янка, оправданием не является.

Злорадно прикидывая, какую роль сыграть — холодного и высокомерного супруга или все-таки мудрого и душевного мужа, — я отпил из стакана, щелкнул замком и распахнул входную дверь.

На пороге стояли два незнакомца, один с усами, другой безусый.

— Мы от Янины Викентьевны, — сказал безусый, подталкивая усатого в прихожую. — Войти можно?

Еще один плюс алкоголя — я совершенно не испугался. Скажу больше, происходящее показалось мне занятным, почти смешным. Янка направила парламентаров — такой нелепости я не ожидал даже от нее. Или прислала за своими тряпками?

— От Янины Викентьевны? Прошу! — Барским жестом я махнул в сторону гостиной. — Прошу вас!

Они осторожно сели на диван, впритык друг к дружке. Сам я плюхнулся в кресло напротив. Закинул ногу на ногу. Между нами стоял низкий стол черного мрамора; пепельница, сигареты, ополовиненная бутылка коньяка. Я закурил, выпустил дым, стряхнул пепел. Один из гостей, безусый, казался смутно знакомым, оба были примерно моего возраста, может, чуть моложе. От них пахло, как пахнет в такси — дешевой кожей, одеколоном и прокисшими окурками.

Они молчали, украдкой шарили глазами по интерьеру гостиной. Не думаю, что могли оценить, но интуитивно чужали — дорого. Резной шкаф, похожий на погребальный саркофаг какого-нибудь тевтонского курфюрста, напольные часы в дубовом футляре с медным ангелом на крыше; на другой стене — подлинник Айвазовского, небольшого формата морской этюд в музейной раме, рядом — портрет бабки в полный рост работы Герасимова (холст-масло), тут же парадная сабля — подарок самого Клима Ворошилова с золотой гравировкой на эфесе.

Моя героическая бабка в юные годы устанавливала советскую власть на западных окраинах молодой советской республики, дважды была ранена, ей ампутировали большой палец на левой ноге, чтобы спасти от гангрены; до знакомства с моим дедом она была любовницей Троцкого, что чуть не стоило ей жизни в середине тридцатых. С Лубянки, где она провела трое суток, ее выгнали Буденный, к которому на дачу в Баковку, спустя сорок лету она меня возила в гости. Там, в кустах сирени, с другими шалопоями, я учился курить взятяжку. То были папиросы «Казбек», которые я тырил из бабкиной сумки, сделанной из кожи настоящего миссисипского каймана — подарок губернатора штата Луизиана.

Сумку эту я отдал Верочке вместе с кучей другого бабкиного барахла. Бабушка к тому времени переехала на Ваганьковское и уже не нуждалась ни в кашемировых платках, ни в норковых шубах. Яна, узнав позднее, довела себя почти до агонии, упрекая меня в криминальном расточительстве на грани с инфантильной дегенерацией.

— Шиншиллу! — кричала Яна. — Кухарке!

Когда она психует, ее шея и грудь идут пятнами. Голос приобретает высокий и чуть гнусавый тембр, такими голосами

поют частушки в селах средней полосы России. По интонациям и словарному запасу человек посторонний вряд ли мог догадаться, что моя жена — эта миниатюрная женщина, с крепким выбритым затылком и белобрысой челкой — окончила журфак МГУ, несколько лет руководила отделом писем литературного журнала, после обозревала культуру на «Эхе Москвы», а сейчас занимает пост администратора ресторана Центрального дома литераторов, что выходит на улицу Воровского, прямо напротив Дома киноактера.

Янкины парламентареры продолжали глазеть по сторонам — хмуро и молча. Как пара двоечников в учительской. Мне стало смешно, я теперь внаглую разглядывал их: красные неинтеллигентные руки, скверные короткие стрижки, куртки с рынка. В них было что-то то ли армейское, то ли тюремное; к тому же их объединяло какое-то угрюмое сходство. Будто их нарисовали наспех, а после обоих разом покрасили широким флейцем — тоже без особого старания. А чтоб отличить, одному приклеили усы. Я дотянулся до бутылки, плеснул в стакан коньяка, не спеша завинтил пробку.

— Янина... — безусый начал, откашлялся и продолжил, — Викентьевна... Она требует...

— Что? — Я чуть не поперхнулся коньяком. — Требует?

Он осекся и замолчал.

— Требует?!

И тут я узнал его — охранник, он обычно сидел за столом рядом с гардеробом и проверял членские книжки у малоизвестных писателей или сверялся со списком приглашенных в ресторан. В дешевом похоронном костюме с перхотью по плечам, в белой рубашке с черным галстуком на резинке. Я обычно проходил, не задерживаясь, сказав «привет» или махнув рукой.

— Тебя как звать? — спросил я грубо. — Ты охранник у Янки.

Тот моргнул несколько раз — часто-часто — и буркнул:

— Слава...

Янка хвасталась, что в охрану они набирают только бывших гбэшников. У меня с этой конторой личных контактов не было, но сейчас репутация работников щита и меча стремительно неслась к нулю, что, впрочем, совсем не удивительно, если судить по событиям последних лет. Я хмыкнул и откинулся в кресле.

— Славик, — ласково произнес, — передай моей жене, что она может заехать за вещами в любое время. Предварительно позвонив.

— Нет... — не очень уверенно возразил Славик. — Не про вещи... Она... Янина Викентьевна требует, чтобы вы уехали...

Я не понял, даже растерялся:

— В смысле? Куда?

— Куда угодно. К родителям на дачу, говорит, пусть едет...

— Славик, ты что, с ума сошел? У тебя жар? Ты бредишь? Это моя квартира — понимаешь — моя? Она тут даже не прописана!

Я залпом допил коньяк, звякнул дном стакана о мрамор стола. Славик вытер губы рукой.

— Она — женщина, — пробурчал он, — вы как мужчина... благородно поступить... Собраться и уйти — благородно. По-мужски... Да...

Смесь ярости, изумления и какого-то дьявольского веселья вырвалась из меня то ли хохотом, то ли рыком. Я орал, ругался матом и размахивал руками. Из моего намерения вести себя надменно и с холодным достоинством ничего не вышло. Где-то на окраине сознания я понимал, что нужно немедленно остановиться и прекратить безобразную истерику, но тем не менее продолжал кричать и жестикулировать, испытывая даже какое-то сумасшедшее удовольствие от происходящего, словно мне вдруг наконец удалось освободиться от веревок, которыми я был крепко связан. Разумеется, будь я трезв, все могло бы сложиться иначе.

Усатый все это время молчал, лишь мял руки и зыркал исподлобья то на меня, то по сторонам. Неожиданно он подался вперед и, ухватив коньяк за горлышко, со всего маху треснул бутылку о край мраморного стола. Бутылка разлетелась фейерверком стекла и пошла — резко пахнуло спиртом и карамелью. Зажмурившись, я вжался в кресло.

— Слушай сюда, урод, — произнес усатый тихо. — Хозяйка сказала — ты выполнил. Усек? Три дня у тебя. До субботы.

У него был южный выговор, так говорят в Анапе или Ростове. Я сухо сглотнул, жутко хотелось пить. Выдавил с трудом:

— Это моя квартира...

Усатый ухмыльнулся и кивнул:

— Рад за тебя. — Толкнул Славика локтем: — Пошли, он все понял.

Усатый аккуратно поставил отбитое горлышко розочкой вверх. Весь стол был усыпан битым стеклом, мелким-мелким, в фильмах так обычно выглядят алмазы из только что ограбленного банка. Парламентеры поднялись, в дверях усатый задержался и оглянулся.

— И без фантазий...

— В смысле? — Я, кажется, забыл, что нужно дышать.

— Ты понял...

Грохнула железом входная дверь. У нас половина подъезда поставила такие в прошлом году после того, как ограбили Поплавского. Я сходил на кухню, вернулся с веником и совком. В коридоре задержался у зеркала: у меня во лбу — точно по центру — торчал крошечный осколок стекла. Осторожно ногтями я вытащил его, из пореза вытекла капля крови, набухла и медленно сползла по переносице к самому кончику носа, оставив на лице тонкую вертикальную полоску ярко красного цвета.

2

Начало истории обозначить просто — все началось третьего мая. В третий день пятого месяца девяносто третьего года. Я стоял с сигаретой на балконе. Назвать это балконом можно лишь условно — скорее, небольшая площадка с пожарной лестницей, ведущей на крышу. Наша квартира находится на последнем этаже крыла, которое смотрит на площадь с пятью светофорами и вечным автомобильным затором. За площадью газон с тройкой чахлых берез и тоскливое здание Библиотеки иностранной литературы. Под нами кинотеатр «Иллюзион» и булочная на углу. Хлеб наш, кстати, пекут вкусней, чем в Филипповской.

Окна квартиры выходят на площадь, все, кроме окна маленькой комнатенки за кухней, в которой раньше обитала Верочка, а теперь расположилась моя мастерская. Из открытого окна легко вылезти на ту самую площадку с пожарной лестницей, я продельваю этот трюк с раннего детства и поэтому риск грохнуться с восьмого этажа не так уж велик. Хотя, если честно, я немного боюсь высоты.

Двор внизу был поделен диагональю пополам — лимонный свет и лиловая тень. Солнце уже перекаатило на нашу сторону, но еще не

успело скрыться за центральной башней. Она высилась злым готическим замком: иглы спиелей, звезды и шишечки — черный силуэт был крепко приклеен к новенькому синему небу. Горько пахло тополиными почками, на собачьей площадке местные пьяницы пускали солнечных зайчиков доньшками пивных бутылок; сквер, бурый и в крапинках зимнего мусора, подернулся зеленоватым дымом предвкушения травы. Солнце жарило с летним азартом, мои пальцы были в краске — умбра и сепия, — я стяхнул пепел и увидел ее, Ванду.

Разумеется, имени я тогда не знал. Но именно в этот миг был пущен секундомер, именно тогда начался обратный отсчет времени — как в фильмах, где участвует бомба с часовым механизмом. Впрочем, этого я тоже не знал тогда.

Соседний подъезд, восьмой этаж, балкон. Там она лежала в шезлонге, лежала абсолютно голая, если не считать черных очков. Она не просто загорала, это напоминало языческий обряд жертвоприношения с участием солнца, почти летнего ветра и какого-то алого напитка в ее бокале. Я замер. Наша генетическая память: застыть — единственный способ остаться незамеченным вне зависимости от твоей роли в данный момент — жертва ты или хищник, тут главное оставаться неподвижным и постараться слиться с мертвой природой.

До соседнего балкона было метров двадцать. На нем много лет подряд громоздилось какие-то коробки, затянутые грязной клеенкой, торчали вечные лыжи. Зимой балкон превращался в сугроб, а весной туда прилетали голуби, занимались своей голубиной любовью, а после выводили потомство и улетали.

Сейчас балкон был пуст. Если не считать шезлонга и девицы. Железные прутья ограды были не толще пальца, зрение у меня отменное — единица, я прекрасно видел ее шею, ключицы, плечи и все остальное, включая кораллового цвета педикюр и филигранную стрижку на лобке в виде узкой вертикальной полоски.

Девица отпила из стакана, ленивой рукой поставила его — я даже расслышал, как звякнуло стекло о кафель. Закинула ногу на ногу, томно поправила черные очки и, чуть вытянув шею, помахала мне рукой. Аккуратный жест ладонькой — вправо-влево. Я неуклюже махнул в ответ. Отвернулся, чувствуя, как лицо наливается жаром до самых ушей, будто это не она, а я выставляю тут, в самом центре Москвы, напоказ свои гениталии.

Я выбросил окурок, облокотился на перила и некоторое время смотрел вдаль, делая вид, что непринужденно разглядываю перистые облака, появившиеся на юго-западе столицы, где-то над Воробьевыми горами. Вскинул руку — небрежно, взглянул на часы. Не обращая на соседский балкон ни малейшего внимания, протиснулся в окно и вернулся в свою комнату. Все представление заняло минут пять, в течение которых я ощущал себя абсолютным идиотом.

К вечеру погода испортилась, до конца недели зарядил дождь, в выходные мы уехали с Янкой в Краснопольское к Долматовым. В понедельник и во вторник на балконе скучал одинокий шезлонг. А в среду я столкнулся с ней во дворе.

Она обладала удивительным даром одеваться так, что представить ее голой мог даже человек без особой фантазии. Мы столкнулись лоб в лоб, когда я закрывал багажник машины. Делал это неуклюже — локтем, в руках держал крафтовый пакет с продуктами. Оттуда воняло зеленым луком пополам с клубникой.

Она захлопнула багажник, шутливо дунула на ладонь. Улыбнулась краем губ — ухмылка, усмешка — не понять, черные очки закрывали глаза, в стеклах дважды отражалась моя физиономия и зеленые перья молодого лука, торчащие из пакета. Она подняла указательный палец, лукавым жестом леонардовского Крестителя ткнула вверх.

— Ты? — спросила.

Я кивнул. Она подалась ближе, бесцеремонно заглянула в мой пакет и, выудив крупную клубничину, сунула ее себе в рот. Бросила зеленый хвостик через плечо. Я застыл истуканом. Нужно было что-то сказать. Что угодно.

— Немытые... — промямлил я.

— Так вкусней! — засмеялась она.

У нее вышло «вкусней» — с клубничным соком и смехом пополам — очень невинно, по-детски и в то же время порочно, почти развратно. Последнее, вполне возможно, на совести моего чересчур живого воображения. Или того факта, что я не мог всю неделю выкинуть из головы шезлонг, балкон и коралловый педикюр.

— Ты кто? — спросила она.

Ладонью стерла сок с подбородка — острого, лисьего.

— В смысле? — растерялся я.

— В прямом! — слизнула сок с руки. — Отвечай честно! Как в раю! Вот ты стоишь перед райскими воротами и грозный ангел тебя спрашивает: «Ты кто? Отвечай!»

— Там не ангел, апостол Петр там стоит с ключами от...

— Какая разница? Пусть апостол твой! — Она понизила голос. — «Ты кто?» — спрашивает.

Тогда в первый раз у меня промелькнула мысль, что у нее с головой не все в порядке. Как водится, самые важные предупреждения мы игнорируем. Вместо того, чтобы развернуться и уйти, я рассмеялся.

— Художник, — глупо ухмыляясь своему отражению в ее очках, добавил зачем-то. — Художник-график.

— Ого! У меня уже один знакомый художник есть! Шемякина знаешь, Мишу?

— Кто ж...

Она перебила:

— У нас куча его картин... как эти? Ну, которые с камня переводятся?

— Литографии...

— Точно. Он Буничу в Нью-Йорке целую папку подарил. Литографий. Одна вообще полтора метра в высоту, там мужик из таких разноцветных штучек, вроде леденцов. А вокруг то ли птицы, то ли насекомые — стрекозы. Не помню, как называется, у нас в спальне висит. Хочешь посмотреть?

— Спасибо, разумеется... любопытно, — уклончиво ответил и тут же спросил: — А Бунич, это...

— Это муж...

— Который академик?

— Нет! Даже не однофамилец! — Она, хохоча, махнула рукой. — Бунич Мишу всем своим показывает, хочет его через Олега к Ельцину пропихнуть...

— А Олег?

— Бунич с ним в теннис играет, а он с Ельциным...

— В теннис?

— Ну!

Я вспомнил мебельные фургоны, длинные и белые, с логотипом в виде короны и каким-то названием латинскими буквами; недели три назад они наглухо перегородили наш двор, мне так и не удалось

выгнать машину и пришлось ловить левака. Вспомнил распахнутые настежь двери соседнего подъезда, не по-московски шустрых грузчиков в комбинезонах, слишком чистых и чересчур синих. Они ловко выгружали аккуратные контейнеры, сколоченные из свежих досок, контейнеры были перетянуты блестящими стальными лентами.

— Ну что, пошли? — Она кивнула головой в сторону своего подъезда.

В голове стоял веселый шум, такое бывает, когда купаешься в шторм — вынырнул, а в башке все звенит. В сквере орали грачи, распахнутые окна горели бешеным ультрамарином, у заднего входа в булочную разгружали свежий хлеб — оттуда нестерпимо пахло теплыми булками с изюмом. Коралловый педикюр и все остальное снова всплыли в памяти.

— Спасибо, — буркнул я, пляясь в распахнутый ворот ее блузки — она успела здорово загореть для середины апреля. — Неловко как-то... Я даже не знаю, как вас звать...

— Ванда! — засмеялась она. — Ван-да. Теперь можем идти?

3

Я не пошел. Хотелось бы записать мое решение на счет благоразумия — дудки! — я просто струсил. То, что мы называем словом «неловкость» на деле является смесью робости и нежеланием принять брошенный вызов.

Она бросила вызов — я сдрейфил.

Меня испугали ее свобода и энергичность — точнее, энтузиазм. И, конечно, талант импровизации. Когда люди вступают в контакт, они подобны шахматистам средней руки — мы используем заготовленные комбинации: набор штампованных фраз — вопросов и ответов, — коллекцию заученных жестов и улыбок. Как правило мы можем уверенно предсказать весь диалог от начала до конца. Белая пешка e2 на e4, черный слон и так далее — и вот разыгрывается мальтийский дебют.

Ванда играла без правил. Это пугало — я боялся выглядеть глупо, меня страшила ее непредсказуемость. Одновременно именно непредсказуемость меня и притягивала. Как в старых романах писали — манила с неодолимой силой.

Я готов поспорить с Марксом: не труд сделал из обезьяны человека, а любопытство. Любопытство — страшная сила. Оно заставляет нас путешествовать, вступать в сомнительные сделки, начинать рискованные аферы, читать книги и смотреть фильмы — жить. Любопытство — вот топливо нашего бытия. Риск — суть азарта и страсти. От преферанса по копеечке за вист до ломберных столов Лас-Вегаса и Монте-Карло, от тараканьих бегов до русской рулетки. А уж для славянской души слаще азарта ничего и не придумать. И если играть, так до последних портков, если спорить — до кровавой драки. А уж если любить кого, то любить насмерть. Так, чтоб жизнь на кону стояла.

4

С Яной мы познакомились на Крымском валу четыре года назад. У меня открывалась выставка, она пришла брать интервью для своей программы «Культуромания». Вернисаж начинался в семь, я приехал к шести, Яна проникла в зал, еще закрытый для публики, и уже всю болтала с буфетчицей, разливавшей белое и красное вино по пластиковым стаканам — на одном подносе рислинг, на другом — каберне.

У моей будущей жены был — хотя, почему был, он есть и стал даже еще изощренней — врожденный дар, восхитительная и непринужденная способность очаровывать и втираться в доверие к людям всех социальных слоев и любых возрастных групп. Яна называет это адаптационной мимикрией. С уборщицей и супругой дипломата, с ребенком семи лет и хмурой собакой, с постовым милиционером и искусствоведом по русским фрескам шестнадцатого века, она моментально находила не только общую тему, но и каким-то непостижимым образом копировала словарь и даже манеру общения собеседника. Скорее всего, я тоже был очарован одной из таких зеркальных вариаций на мою собственную тему.

Наутро после выставки Яна проснулась у меня на Котельнической. Предыдущий вечер реконструкции поддавался частично и лишь до определенного момента — а именно до подачи горячих блюд в ресторане «Прага», куда мы заехали после фуршета на Крымском. Мы много плясали, я заказывал музыку, кажется, даже

пытался петь со сцены на итальянском. Что мы вытворяли ночью не помню совершенно, утром в прихожей я обнаружил барный стул на хромированной ноге и милицейскую фуражку со сломанным козырьком. Похмелье было чудовищным, но в холодильнике нашлась пара бутылок шампанского.

Следующие две-три недели слились в сверкающую карусель веселых ужинов и попоек в ресторанах, у друзей, на каких-то дачах. Янка умела веселиться — в «Метрополе» нас забрал патруль: на спор с негром-туристом она делала стойку на руках, держась за спинку стула. Яна едва не устроила кораблекрушение на Москверекке, напоив в дым штурмана речного трамвайчика и взяв управление на себя. Мы просыпались в двухместном купе, а за окном текли предместья Киева. На Крещатике она стала причиной затора, изображая слепую иностранку, ищущую переход. Нас выводили из Мариинского — там она пыталась петь дуэтом с Ленским. Кажется, в Вильнюсе она уговорила меня заняться сексом в зоопарке. В ленинградской «Астории» нам отказывались давать номер, поскольку в наших паспортах не было печати о регистрации брака — через три дня мы расписались в каком-то дворце бракосочетаний с жутковатыми мозаиками по стенам, где-то на Тимирязевской, директриса ЗАГСа оказалась школьной подругой моей новой жены. Мы, разумеется, прошли вне очереди.

Свадьбу отмечали в ЦДЛ, над «дубовым залом» — по лесенке и налево, там есть уютный кабинет с камином — «комната номер восемь» — на двери все еще висит табличка «Партком»; Лева Мещерский, начальник писательского общепита, рассказывал мне, что именно тут литераторы-партийцы придумывали кары своим несознательным коллегам, от Пастернака до Войновича.

Медовый месяц уложился в неделю. Таллин ранней осенью был чист и звонок: башни-шпили, зеленый мох на диких камнях, белые облака над синим заливом, жаркий глинтвейн в глиняных кружках. В парке Кадриорг мы валялись на все еще теплой траве, пили портер из черных бутылок и закусывали копченой салакой, а после до одури целовались рыбными губами. Я рассказывал про Эдинбург, про выставку в Лондоне, про Франкфурт и книжную ярмарку, где мне вручили «Золотое яблоко» — этот «Оскар» художников-книжников — за серию цветных иллюстраций к «Страстям от Иоанна».

Наш поезд подкатывал к Москве, я выволакивал в проход наши чемоданы и пакеты с сувенирами для ее родителей (ликер «Вана Таллин» — две бутылки, запечатанные сургучом, набор пивных стаканов и литая пепельница в виде беса с тележкой), когда Яна мимоходом сообщила, что уволилась с «Эха», накануне отправив из отеля факс Венедиктову. На площади мы поймали левака и поехали на Таганку. Именно с того дня она прочно обосновалась на Котельнической.

Родители Яны удивили меня — сюрприз был, к счастью, нивелирован алкоголем: с ее отцом, отставным подполковником ракетных войск, мы пили разведенный спирт «Рояль», сидя на тесной кухне. Дело происходило где-то в Подмосковье Ярославского направления, поблизости находился Звездный городок, о чем несколько раз напоминал мой новый родственник Викентий Палыч. Мы закусывали потрясающе сочными помидорами домашнего за-сола; всякий раз, опрокидывая стопку, я приговаривал, что только ради одних помидоров стоило жениться на его дочери.

Палыч на шутки реагировал плохо, к тому же он не знал, кто такой Уорхолл и где находится Уффици, расстояние до Нью-Йорка он определял временем полета РС-20; любая тема у нас съезжала на сволочей-либералов, гада Горбачева и иуду Ельцина. Тесть краснел лицом, наливался гневом и сладострастно бил кулаком в ладонь. Он был лыс, потен и напоминал жертву, чудом спасенную из пожара; я из солидарности плел, что «моего бату» тоже турнули из МИДа «эти суки», что можно считать правдой лишь отчасти, поскольку родители по-прежнему жили в Лондоне, а отец из культурного атташе превратился в вице-президента некой то ли никельной, то ли алюминиевой конторы.

В жаркой комнате с тюлевыми занавесками и пианино «Лира» в ореховом корпусе под ослепительной люстрой был накрыт овальный стол. Пахло сырым луком. Меня принимали по высшему разряду — белая скатерть, фужеры, винегрет и шпроты, в хрустальной ладе краснели неизбежные помидоры.

Теща, крепкая кубышка в нейлоновом спортивном костюме лимонного цвета, с медным лицом, кудлатой стрижкой и водевильным именем Роза Казимировна, благоухала «Красной Москвой». Упираясь мне в плечо тугим бюстом и улыбаясь, как воровка, она подкладывала в мою тарелку винегрет и интимным контральто

расспрашивала о квадратных метрах и планировке квартиры на Котельнической.

Меня мутило от смеси духов и укропного рассола. Было невыносимо душно, я пьянел, с оторопью различая в плотоядных чертах Розы Казимировны лицо своей новой супруги, которая не только сидела напротив, но и вдруг коварно размножилась в фотографиях неожиданно крупного формата по стенам. Яну тут не просто любили — ее боготворили. Стены становились зыбкими, пол тоже плыл, от спирта начинало ломить голову, больше всего хотелось потерять сознание и очнуться где-нибудь далеко-далеко от этого места.

Готовила Яна скверно, съедобными выходили лишь голубцы, но от них в моей мастерской, которая примыкала к кухне, воняло, как в столовке, — капустой и горелым маслом. Теща, очевидно, знала о кулинарной импотенции дочки и раз в неделю навевывалась на Котельническую с парой холщевых котомок, набитых судками с едой и литровыми склянками с супом. Паек она называла «гостинцами» и требовала неукоснительного возвращения тары, особенно пластиковых крышек к банкам. Я благодарил и уходил работать, а из кухни еще часа два доносилось ее густое контральто в назидательных интонациях.

Тещина стряпня напоминала кормежку в пионерлагере или офицерском госпитале — биточки в сметане, суп-пюре, хек с горошком.

Изредка тещу сопровождал супруг-ракетчик. Независимо от времени суток тесть намекал на крайнюю необходимость выпить, щелкал пальцем по горлу, подмигивал и азартно пихал локтем в бок. Отбояриться, как правило, не получалось — приходилось пить даже утром: делалось это очень по-русски, с лихой жиганской ухваткой, быстро и тайком от жен. И, разумеется, без закуски. Хлоп — и в дамки!

После, успокоившись, Палыч бродил по квартире, фальшиво напевал, разглядывая корешки книг, фотографии и картины. Царапал ногтем багет рам. Иногда что-то бурчал, раскачиваясь на каблуках и терзая пальцами красное лицо.

Я его тихо ненавидел, не ведая, что через два года он умрет в военном госпитале в Черноголовке от скоротечного рака желудка.

Время вовсе не линейно, да и существует ли оно? На память полагаться тоже не стоит: в памяти ведь не факт отпечатан, а эмоциональный слепок события, подретушированный алкоголем и общим состоянием души. Коллаж из картинок: одни четкие, в красках и звуках — такие живые, даже с запахами; другие мутные, вроде сновидений, когда болеешь с жаром.

Умоляю читателя не пытаться наложить мою историю на хронологию событий тех смутных времен — они не совпадут. Не стоит изучать астрономию по полотну Ван-Гога «Звездная ночь», а картографию ада по стихам Данте.

И не моя вина, что крах страны — тут; совпал с моим триумфом — там. Гибель советской империи разбудила запад: так пляжный люд, побросав пасьянсы и коктейли, сбегается к подышающему киту-исполину, выброшенному на прибрежный песок.

Все русское стало вдруг важным, наполнилось тайным смыслом и даже мистикой: и танец лебедей, и доктор Живаго, и неизбежный Распутин, и закопченные иконы с ликами мрачных святых. Мир замер в ужасе от предчувствия чего-то невыносимо страшного — все взоры обратились на восток. Там разверзлась бездна, и, казалось, спасенья нет. Русские играли свою заветную роль — невинная жертва, всходящая на плаху. Играли самозабвенно, с азартом и лихостью — рванув рубаху на груди и поцеловав крест, склоняли буйную голову к липкой плахе. Русские знали эту роль назубок, что и неудивительно, другие роли по традиции были закреплены за европейской частью трупы. В который раз за один лишь век — и кровавая резня революции и гражданской, и голод, и мясорубка войны, и снова стальной кулак репрессий, и вот теперь еще и это...

Помнится, темным ноябрем я ехал в Шереметьево, косой дождь пополам с ледяной крупой хлестал по стеклу и лип к дворникам, фонари на Горького горели тускло-желтым, все вокруг — тротуар и мостовая, фасады домов, голые деревья, пешеходы, — все казалось мокрым и скользким; перед продуктовым толпилась черная масса людей, у входа на «Пушкинскую» кого-то били.

А утром, с пересадкой в Хитроу, я был уже в Эдинбурге. Моя персональная выставка проходила в отеле «Корона Скандина-

вии», на открытии струнный квартет играл Моцарта и Вивальди. Официанты во фраках разносили шампанское, дамы в узких платьях с голыми спинами хвалили мои картины, я улыбался и с достоинством целовал их тощие руки. Интервью с моей фотографией опубликовал журнал «Шотландец», на выставку привели даже какого-то типа из «Сотбис». Успех превзошел ожидания организаторов выставки и уж тем более мои — мы продали почти все картины. Денег я заработал много, запросто мог купить целый этаж в моей высотке. «Падшего ангела» приобрел местный лорд, картина и сейчас висит в его замке. Бывая в Эдинбурге, я непременно навещаю его, мы пьем чай у камина, он что-то рассказывает, но из-за его шотландского акцента я не понимаю и половины.

Я возвращался в Москву, в Шереметьево меня встречала толпа друзей и знакомых — орали через загородку, какой джин-бурбон-скотч прихватить в дьюти-фри; прямо из аэропорта всем табором мы неслись на Таганку: раздача подарков и пир горой были непременным ритуалом каждого возвращения на родину. Под утро гости разъезжались, Янка стягивала новое платье, ботфорты на шпильке и в пьяной неге отдавалась мне на ковре гостиной. Прямо под портретом моей героической бабки и парадной саблей, подаренной самим Ворошиловым.

А в январе я уже встречался с новым импресарио — Яном-Виллемом Зюйдтраппом, который переманил меня из Эдинбурга в Амстердам. Мы договаривались о новой выставке в мае, подписывали контракт на серию плакатов для Голландской регаты. Я возвращался в Москву и работал. А через три месяца улетал снова.

У меня брали интервью, я участвовал в околкультурных репортажах местных телеканалов. Обычно после спорта и перед погодой они показывали мои картины, потом меня — я говорил банальности о живописи, о культурных связях и гуманитарных ценностях. Ян-Виллем считал интервью важнейшим элементом маркетинга, мне они казались пустой тратой времени.

Однажды, явно по недоразумению, я угодил в двухчасовую программу ВВС; уже само название насторожило меня — «На краю пропасти», — но было поздно: меня усадили в кресло перед микрофоном и принесли стакан воды. Включился красный фонарь с надписью «Прямой эфир», прозвучал джингл. Ведущий — тощий малый, похожий на стручок и Зигмунда Фрейда одновременно,

отвратительно красивым баритоном представил участников. Кроме меня в студии оказался смутно знакомый депутат и известный писатель-прозаик. У первого была репутация либерала-реформатора, второй был осмотрительным диссидентом и заядлым бабником. Его я встречал пару раз в ресторане Дома литераторов. Непременно с пестрым шарфом на шее и в штанах брусничного цвета.

Меня представили как художника и культуртрегера. Выяснилось, что я участвую в социально-политической дискуссии за круглым столом.

За всю программу я произнес не больше дюжины фраз.

Депутат говорил сбивчиво и скучно. Он явно мучился похмельем. Писатель быстро перехватил инициативу, заткнуть его не мог даже ведущий. Образность речи и умелость фраз завораживали. К тому же говорил литератор страстно и азартно, с эффектными модуляциями — от зловещего шепота до рокочущего рыка. Примерно так звучала бы речь Троцкого, если бы текст ему написал Алексей Толстой.

— Россию корежит! — сипло восклицал писатель. — Горбачевские фантазии надулись и лопнули болотным пузырьем. Партия — честь, ум и совесть нашей эпохи — оказалась гурьбой трусливых и вороватых идиотов. Русский мужик не простил ни заячьего бегства из восточной Европы — кровью отцов политой Польши, Венгрии, Чехии и Словакии...

Ведущий попытался вклиниться, но был остановлен властным жестом писательской руки.

— Да что там Европа — латышей да чухонцев не смог удержать «меченый»! — Прозаик с душой хлопнул себя по ляжке. — Россия! Великая империя! Колосс рассыпался и рухнул в грязь!

Депутат проблеял что-то про суверенитет, демократические ценности и новый путь. Писатель отмахнулся, даже не взглянув на него.

— Мужик! Русский мужик! Соль земли русской! — с рыданием вскричал он. — Вы предали его! Иуды!

Депутат поперхнулся водой. Ведущий неохотно достал из нагрудного кармана платок в шотландскую клетку и принялся вяло протирать свои докторские очки.

— Но пуце всего обидела мужика проповедь трезвости — тут уж Русь запила назло, да так лихо, что и остановиться уже мочи не было. В хмельном чаду творились роковые чудеса: деньги обраща-

лись в бумагу, по улицам громыхали танки, с пьедесталов свергались бронзовые идолаы — наступал конец времен. Надвигался русский апокалипсис.

— Да! — Ведущему удалось вписаться в паузу. — Апокалипсис! Это как раз тема одной из картин нашего гостя. Как мастер создания зрительных образов, что вы можете сказать...

Он поощрительно кивнул на мой микрофон. Я поправил наушники и промямлил какой-то трюизм. Литератор хищно зыркнул на меня и вдруг радостно поддакнул:

— Художник прав! Он потрохами чует смерть! На то он и художник!

Что за бред? Я растерялся и замолчал. Прозаик выставил большой палец и плотоядно подмигнул мне. Я вспомнил, что про него ходили слухи насчет малолеток. И что контора его не трогает, поскольку он стукач. Мне захотелось исчезнуть.

— Но справедливость... — проблеял депутат.

Он пытался приободриться, но прозаик был неукротим.

— Идея вселенской справедливости, столь милая русской душе, отошла на второй план — какая уж тут справедливость к чертям собачьим! — Писатель вошел в раж, он уже орал в голос. — А вот отомстить кровопийцам мечталось страстно, до зубовного скрежета. Коммунистам да чекистам — вот кого на вилы! Вот кого на площадях вешать! За голод, за страх, за унижения — за расстрельные команды да колымские этапы. За чистые руки, холодные головы и горячие сердца. Власть выпала из рук коммунистов. Заводы остановились, встали поезда, вся страна вышла к обочине торговать никому не нужным хламом, рядом с кухаркой стоял профессор, но даже он не мог объяснить, что творится. «Титаник» уходил под воду, но даже оркестр на палубе не играл! А лодок на нашем корабле не было и в помине! Опускается ледяная ночь, «Титаник» тонет, мы идем на дно вместе с ним. Мы все идем на дно...

Писатель зловещим взглядом оглядел всех нас, включая оператора за стеклянной перегородкой. После перешел на свирепый шепот.

— Кончилась великая Россия... Россия Пушкина и Гагарина, Чайковского и Столыпина. Рухнули Рюрики, кончились Романовы, нет больше ни Ленина, ни Сталина. Теперь масть держат ражие парни с боксерскими лицами; бритые под ноль, в спортивных штанах и кожанках. Они отличаются лишь воровскими татуиров-

ками и принадлежностью к той или другой банде, которые даже официально теперь именуются уважительно — «группировка». «Ореховские», «Подольские», «Тамбовские» — они вчера контролировали рынки и ларьки, сегодня покупают металлургические заводы на Урале! Банки, рудники и шахты, аэропорты и флотилии принадлежат бандитам!

Повисла пауза. Ведущий положил очки на стол и прикрыл глаза ладонью.

— Не вы! — Гневным пальцем прозаик ткнул в депутата. — И не ваша клоунская дума. И не ваш пропойца Ельцин!

Депутат выронил стакан, тот мягко стукнулся о ковер.

— Бандиты! — устало выдохнул писатель. — Воры и убийцы! Вот настоящие хозяева новой России!

6

Лето еще было или уже наступил сентябрь — помню не точно. Впрочем, роли это не играет: я только вернулся из Амстердама, и Янка уговорила меня рвануть на Кипр — на недельку-другую — «расслабиться». От чего ей следовало расслабиться, я не спрашивал. Тогда она увлеклась йогой, даже бросила пить и курить, часами валялась на ковре, слушая занудные индусские напевы.

Настроения отдохнуть не было, галерейный бизнес буксовал, Ян-Виллем с европейской деликатностью уверял, что спад — явление сезонное. Я ему не очень верил — последняя выставка стала настоящим провалом, денег от продаж едва хватило покрыть наши расходы. Впрочем, прощаясь в аэропорту, он намекнул на серьезность проблемы. Если перевести щепетильные английские фразы на грубый русский, то мне следовало кардинально изменить абсолютно все: художественную манеру, тематику, технику и формат. Своими оттюканными до звона миниатюрами я накормил зрителей, им наскучили боярышни и королевичи, богатыри, колдуньи и прочая былинная нечисть. Надоел славянский орнамент и средне-русский пейзаж — все эти туманы, березы и закаты над болотами. Пора переключаться на нечто более абстрактное, выходить в трехмерное пространство, работать с фактурой и объемом, использовать даже коллаж — почему бы и нет?

До Кипра лететь три часа, мы приземлились в Ларнаке, к ужину добрались до отеля. Утро выдалось чистым и тихим — мертвый штгиль: бирюзовая гладь под синим небом. Песчаный пляж, при пляже бар под соломенной крышей, за стойкой смуглый красавец с лицом конокрада. В дубовых кадках банановые деревья с гроздьями спелых бананов — явно для экзотики. Плюс пара чаек, да парус вдали. Яна — лимонный купальник, шляпа, стрекозы очки — устроилась под зонтом с книгой и в наушниках. У меня после вчерашнего ломило в висках. Я недолго кокетничал и быстренько уговорил себя заказать пиво.

Плавать не хотелось, настроение было на нуле, мне принесли второй стакан. Чертов Кипр, дурацкое море, идиотский пляж — я уже костерил себя за сговорчивость: нужно было работать, а не загорать. Янка покачивалась в такт беззвучной музыке, должно быть опять свою индусскую хрень слушала. Я поймал себя на мысли, что назвал ее дурой. Улыбка, даже не улыбка, а ухмылка — сытая румянность и округлость, — с таким же кукольным лицом она внимала вчера моим стенаниям, когда я, опустошая мини-бар нашего номера, пытался растолковать то ли ей, то ли себе всю серьезность провала последней выставки.

Яростно скручивал пробки лилипутским бутылкам «Смирнова» и «Камю» — одного пузырька хватало как раз на глоток, — выскакивал курить на балкон и оттуда, через распахнутую дверь, продолжал ругаться и орать. Пытался что-то объяснить, оправдаться, пытался понять, когда, в какой момент, я прошляпил удачу.

— Ведь еще весной все шло великолепно! — орал я в кипрскую ночь.

Яна слушала, забравшись с ногами в кресло, иногда называла меня «котей» и просила так уж сильно не переживать. За фразу «Котя, ты ж у меня гений, все будет топ-топ, милый» я был готов придушить ее прямо в этом кресле.

Похмелье от игрушечных бутылочек оказалось совсем нешуточным. После второго пива я задремал. Очнулся в полдень. В синей тени соседнего зонта смуглый конокрад заигрывал с моей женой. Та милостиво ухмылялась, придерживая шляпу, на бритой под-

мышке краснели прыщики; конокрад ловко балансировал стальным подносом. Фужер, размером со среднюю вазу, с розовым пойлом и пестрыми цветами, был уже в руке Яны. Изредка она склонялась к соломинке, и до меня доносилось детское хлюпанье.

Я поднялся, отряхнул песок и, не оглядываясь пошел в сторону пирса. Он белым языком уходил далеко в море. В гулкой голове перекатывался тяжелый шар. Пока я спал, у меня сгорели колени. Солнце жарило нещадно, солнечные очки остались у шезлонга, но возвращаться не хотелось. К тому же я забыл надеть шлепанцы. Пирс оказался щербат и колюч, из бетона торчали ракушки, мелкие и острые, как битое стекло. Я добрел до конца пирса, подошел к самому краю. Вода тут казалось густой, темной как малахит, эта краска называется «стронций изумрудный».

Граница между морем и небом была резкой и четкой — небо к полудню выцвело и стало наивно-голубым. Там, за горизонтом, лежал невидимый Израиль. Святая земля, Вифлеем, град Иерусалим, река Иордан и Галилейское море, по водам которого гулял Спаситель.

В тех местах существование Иисуса не вызывало сомнений. Казалось, Он только вчера ступал по камням кривых иерусалимских улиц, а в траве Гефсиманского сада, если постараться, можно наверняка разглядеть капли крови из раны, нанесенной мечом Петра, когда он отсек правое ухо рабу первосвященника. Видел я и Преторию Понтия Пилата, и тот балкон, с которого прокуратор Иудеи взывал к толпе, — не вижу я никакой вины в этом человеке. И лишь Голгофа оказалась не холмом с крестами, а невзрачным белым камнем внутри часовни.

В Израиле я провел две недели, путешествуя из Вифлеема до Хайфы, от Иерихона до Тель-Авива. Видел я Мертвое море, оно действительно не выглядит живым, в свирепую жару взбирался на крепость Масада, бродил по рыжим камням пустыни Мегиддо, где в решающей схватке сойдутся силы Добра и Зла в конце времен. Повсюду меня сопровождала София — переводчик, гид, чичероне и эксперт по вопросам всего библейского. Поездку, точнее сказать, командировку организовало немецкое издательство «Протестант ферлаг, Гмбх», которое заказало мне иллюстрации и оформление «Евангелия от Иоанна». Книга планировалась в формате ин-фолио с супером и золотым тиснением, с форзацем и фронтисписом, со

шмуцтитугами к каждой главе и дюжиной полосных цветных иллюстраций, не считая заставок и декора.

Та поездка стала точкой отсчета моего взлета. Сегодня, стоя на краю пирса, я мог обозначить точку падения. Начало — взлет — падение — конец. Святая Земля пряталась за кромкой горизонта, даже невидимая глазу, она точно была там. Я был отличный пловец — бабка возила меня в бассейн Лужников с пяти лет, после было «Динамо» и спортивный сектор бассейна «Москва», сейчас три раза в неделю «Чайка», — я запросто могу доплыть до Израиля. Ну, не запросто, хорошо — через пару дней доплыву точно. Не могу не доплыть.

Я глубоко вдохнул и вытянул вверх руки. Пружинисто, как в детстве, оттолкнулся от края пирса и описав пологую дугу, вошел в воду. Словно нож вошел, без брызг, без всплеска. Море оказалось даже теплей, чем я ожидал. Лезвия света резали малахит воды. Выныривать не хотелось, сделав пару сильных гребков, я ушел глубже. Дна не было видно, подо мной темнела бездна. Расслабился, скользя по инерции, стравил часть воздуха, пузыри весело поплыли вверх.

Вода отрезвила, ни в какой Израиль я плыть, конечно, не собирался. Кураж исчез, осталась пустота — скучная жена на берегу и никому не нужные картины в Амстердаме. Идей нет, планов тоже. Плюс — мне уже сорок. Вернее, в данном случае это скорее минус.

А что если те четыре года были самыми счастливыми в моей жизни? И беда тут даже не в том, что я не заметил этого, а в том, что с этого момента все покатится под горку. Был пик, а я его прозевал. Как с падающими звездами — кто-то видит их всегда, а другой в этот миг непременно моргнет.

Я вынырнул, в метре от меня на поверхности плавало что-то большое и белое, что-то похожее на наволочку от подушки. Это была мертвая птица. Должно быть, альбатрос или крупная чайка.

Выбраться на пирс из воды не получилось, я только изрезал ладони об острые ракушки. Обратный путь вплавь занял минут пятнадцать. Когда добрался до берега, Яны на пляже не было. Очки и пустой фужер валялись в песке, на лежаке засыхала лужа малиновой гадости — я брезгливо тронул указательным пальцем, липкое, вроде сиропа, осталось на пальце. Огляделся — никого, если не считать храпящего в полосатой тени тента толстого немца. Отдыхающий люд, очевидно, обедал. Бармен-конокрад тоже исчез.

Из-под полотенца я достал сигареты. Чиркнул зажигалкой, но прикурить не успел. От отеля по белой лесенке бежал конокрад. Он бежал прямо ко мне, махал руками и что-то кричал.

В больницу я приехал в мокрых плавках, майке с эмблемой «Роллинг стоунз» и в резиновых шлепанцах. Доктор сказал, что кровотечение удалось остановить, но беременность пришлось прервать. Он сделал паузу, которая длилась целую вечность. Где-то на греческом бубнил телевизор, какой-то аппарат попискивал, как механическая птица, страшно хотелось курить.

Яна лежала в узкой палате за клеенчатой шторой гадкого грязно-розового цвета, ее лицо казалось не бледным, а каким-то лимонным. Я вошел и остановился, доктор подтолкнул меня под локоть. Неуместно воняло какой-то экзотической едой, чем-то вроде таиландского карри. На подоконнике стоял горшок с белой орхидеей — одинокий цветок на рахитичном голом стебле. Яна попыталась улыбнуться, вытянула руку. Опасливо, как слепой, я приблизился к кровати. Яна поймала мою ладонь, крепко сжала мои четыре пальца своей птичьей лапкой. Обручальное кольцо впилося в мизинец.

— Больно... — Я высвободил руку.

— Котя...

— Как... — Я запнулся. — Почему? Зачем...

В голове стоял гул, вопросов был много, но ни один я не мог разумно сформулировать и произнести.

— Котя... — повторила она жалобно. — Прости...

— Как...

— Мама сказала, что ты меня бросишь... Без ребеночка. Ведь ребеночек, он же тебя... А мне тридцать же уже — понимаешь?

Тридцать два, отметил про себя, но поправлять не стал. Отрицательно мотнул головой, я действительно не понимал.

— Она сказала, ты в своих поездках... На фотографиях, на тех, там шлюха черная с вороньим клювом, она ж не просто так к тебе ластится — так и льнет, курва бесстыжая, ведь не просто так...

— Яна, — чуть слышно произнес я, — ты с ума сошла?

— Ну что, я не понимаю? — В голосе появилась материнская сердечность. — Все я понимаю. Вернисажи и рестораны, бары всякие и варьете...

Медный лик моей тещи проступил сквозь бледные черты Яны и исчез.

— Какие к чертовой матери варьете? — Я почти выкрикнул, повторил шепотом: — Какие варьете?

Яна смотрела мне в глаза, не моргая. Потерянная и жалкая, абсолютно незнакомая баба. Я представил — нет, просто увидел, как она со своей кудлатой мамашей копается в моих вещах, как они подбирают ключи и открывают ящики письменного стола, алчно роются в бумагах — документах и письмах, разглядывают фотографии, трогают их своими пальцами. А после сидят на кухне и пьют чай — «с гостинцами».

— Ты что... думаешь, — Яна проговорила трусливо, осторожно выговаривая звуки, — ты думаешь, что это не твой... не твой ребенок?

Об этом я вообще не думал. До этого момента. Должно быть, на моем лице появилось странное выражение, Яна испуганно вжалась в подушку, лицо ее суксилась, и она заскулила.

— Ребенок... наш... — Она выла по-бабьи, кривя мокрый рот. — Котенька мой... Мальчоночка...

Странная смесь жалости и отвращения накрыла меня, я даже сцепил пальцы рук — боялся, что ударю ее. Отвернулся, подошел к окну. Уткнулся лбом в теплое стекло. Яна продолжала выть и всхлипывать.

— Заткнись... — выдохнул тихо, стекло затуманилось ровным кругом. — Христа ради, заткнись.

Вой тут же смолк. В окно упирались ветки с мелкими розовыми цветами, которые издали можно было принять за сирень. Я пальцем провел черту в запотевшем круге. За низкими черепичными крышами темнело море. В палате с таким видом должно быть не так страшно умирать.

— Завтра же вылетаем в Москву... — Деревянный голос был чужим. — Ты сразу же начинаешь работать. Где угодно и кем угодно — сразу же. Идешь работать...

За спиной хлопнули носом.

— Идешь работать, — повторил я жестче. — И еще...

Хлюпанье тут же стихло. Я затылком ощущал ее взгляд.

— И еще... — Зло сорвав белый цветок, я скомкал орхидею в кулаке. — Чтобы никогда — слышишь, ни-ког-да — я не видел твоей матери на Таганке. Чтоб духу ее в моем доме не было! Никогда!

Когда я произносил эти фразы, они звучали фальшиво и плоско в моем черепе, как монолог у дрянного актера — ложь в каждом

слове, в каждом звуке. Чем больше я говорил, тем сильнее я ненавидел себя, Яну, нас вместе.

8

В среду вечером вернулись в Москву. За двое суток перекинулись дюжиной фраз. Я не пытался наказать Яну молчанием, мне физически трудно было обращаться к ней, смотреть в глаза, слушать скорбные вздохи и междометия. То ощущение, которое появилось в кипрской больнице, ощущение фальши, муторной скуки и притворства, словно рыбная вонь от пальцев, теперь преследовала меня повсюду — с утра до вечера: в мастерской, когда я пытался работать, когда пил с друзьями, когда старался заснуть под колючим пледом на кожаном диване в бабкином кабинете, когда спросонья заваривал чай на кухне.

Яна, обладавшая кошачьим чутьем и абсолютным талантом адаптации, выбрала единственный правильный вариант поведения — она растворилась в интерьере. Гордая баба устроила бы скандал, умная — собрала пожитки и хлопнула дверь, хитрая сделала бы именно это — затаилась.

Из спальни долетало журчанье телефонных жалоб подружкам, минорные вздохи с кухни, изредка в полутемном коридоре скользила смиренная тень. Воскресным утром она возникла в дверях мастерской и слабым голосом сообщила, что устроилась уборщицей в наш овощной. Я отложил карандаш. Стараясь не встретиться взглядом, вылез из окна на балкон и закурил. Она постояла еще минуты три, пару раз всхлипнула, после тихо ушла.

Магазин «Овощи-фрукты» располагался рядом с аркой, возвращаясь домой, я покупал там сигареты, иногда спиртное. Продащицы знали меня, помнили мою бабу. Высоченный потолок с двумя люстрами на бронзовых цепях, гранитный пол, похожий на плитки горького шоколада, в арочных нишах раньше красовались фрески — пейзажи то ли кавказских, то ли тосканских просторов с апельсиновыми садами и сиреневыми вершинами на горизонте. Теперь фрески замазали салатовой краской, половину магазина сдали каким-то барыгам. Те, хмурые абреки с криминальными лицами, торговали пестрой дребеденью — пасхальными шоколад-

ными яйцами, индийскими презервативами, сигаретами, пивом, водкой и турецким печеньем.

Я так никогда и не узнал наверняка, устроилась ли Яна уборщицей в овощной. Просто перестал туда заходить, после того как в нашей кладовке откуда-то появилось цинковое ведро с вонючей половой тряпкой и пара синих резиновых перчаток.

Тактика жены оказалась эффективной: к концу второй недели я уже почти убедил себя в неоправданной строгости, к тому же я перестал давать ей деньги, что усугубляло чувство вины. До этого деньги лежали в ящичке письменного стола в кабинете — пачка сто долларовых банкнот в жестяной коробке из-под дореволюционного монпансье «Марлен Руа». По мере надобности мы просто меняли одну-две купюры на рубли, инфляция и трюки Минфина учили быстро — павловская реформа сожрала у меня пять тысяч настоящих советских рублей — наличными. Остальные три тысячи сгорели на счете сберкассы.

Основной мой капитал лежал в шотландском Королевском банке, уголовную ответственность за валютные операции никто пока не отменял, поэтому я перед возвращением домой просто снимал со своего счета две-три тысячи, привозил деньги в Москву и убирал их в ящик письменного стола. В жестяную коробку из-под монпансье. Одной купюры с портретом Бенджамина Франклина нам хватало на месяц: билет в купе-люкс «Красная стрела» стоил пять долларов, банкет с икрой и шампанским в ресторане ЦДЛ на дюжину персон — сорок-пятьдесят долларов, двухлетний «жигуль» шестой модели можно было купить за триста пятьдесят, трехкомнатную квартиру в моей высотке — за две тысячи долларов.

9

К понедельнику чувство вины стало невыносимым. Прямо с утра, после того как Яна, демонстративно погремев ведром в коридоре, захлопнула входную дверь, я начал обзванивать знакомых. Диплом журфака, опыт работы на радио и в литературном журнале нынче котировались не слишком высоко, больше ценилось умение торговать или драться. К полудню, когда у меня уже был список из трех позиций, неожиданно перезвонил Мещерский и радостно сообщил, что только что уволил Катюку и готов взять мою супругу на должность

администратора ресторана Дома литераторов. Меня всегда слегка настораживала излишняя дружелюбность Мещерского по отношению к Яне. На мой вопрос о квалификации он ответил просто:

— Да что там уметь — ты Катьку видел? Ноги, сиськи и жопа — вот и вся квалификация! Твоя Янка по сравнению с ней Эйнштейн и Мадонна в одном комплекте. Привози завтра ближе к вечеру, все оформим, заодно и перекусим. Тут как раз осетринку подвезли горячего копчения — нежнейшая. Трудовую книжку не забудь!

Ночью Яна пришла ко мне в кабинет, стянула через голову рубашку, легла рядом на диван. То была самая странная близость — ни я, ни она не произнесли ни единого слова. Мы не целовались, она все проделала сама, сев на меня, — молча и неторопливо, будто делала массаж или проводила сеанс физиотерапии — должно быть, так бывает с проститутками. Закончив, она бесшумно поднялась, захватила ночную сорочку и ушла.

Следующим вечером я тихо вернулся в спальню.

Склеенная ваза — метафора, конечно, так себе, на троечку, но именно такой вот вазой выделись мне наши новые отношения с Яной: трещины почти не заметны, но цветы не поставишь. Воду в такую вазу наливать не стоит.

Мы были муторно вежливы друг с другом. Просто как А.А. Каренин и супруга его Анна Аркадьевна. Спасительным оказался режим новой работы: она возвращалась поздно, после одиннадцати, я уже читал в постели или притворялся спящим. По утрам Яна дрыхла до десяти — к этому времени я уже всю работу у себя в мастерской.

Работа не клеилась — ни в какую. Ну совсем никак. Я комкал и рвал эскизы, идеи казались банальными и скучными. Пошлые и шаблонные приемы — вторичный мусор, который уже был у кого-то. Причем, был интересней, живей и оригинальней, чем у меня. Я снова срывал лист с подрамника, мял в тугой комок, бросал в угол. Вылезал на балкон, вытаскивал сигареты. Теперь я больше времени перекуривал, чем рисовал.

Ян-Виллем не звонил, я ему тоже. Дни тянулись мучительно и бессмысленно, уже к трем невыносимо хотелось выпить. До полчетвертого я держался, потом шел в гостиную и, прихватив бутылку коньяка, возвращался в мастерскую. Отхлебывал из горлышка, так казалось безобидней, вроде как не пьешь, а так, чуть глотнул — вроде бы понарошку.

Коньяк помогал. Нечто вроде кокона — прозрачной и прочной скорлупы формировалось вокруг меня, некая защита от враждебной среды снаружи. Что-то вроде скафандра для выхода в открытый космос. Для паники повода нет, твердил я, стараясь заснуть. Яна приходила; не касаясь меня, ложилась рядом.

Страшнее всего было странное чувство то ли тотальной тоски, то ли абсолютного одиночества, когда я просыпался среди ночи рядом с ней — она спала не просто тихо — беззвучно; за окном висела густая чернота, немая и плотная, я прислушивался к ее дыханию, пытался уловить хоть какой-то шорох или шелест с улицы. Ничего — пустота. То был странный глухой час, когда никто никуда не шел и не ехал. Думаю, именно от этого безмолвия я и просыпался. Необъяснимый ужас накрывал меня. Точно бык на бойне, звериным инстинктом чуял я — спасенья нет. Мир летит в пропасть, и я лечу вместе с ним. Лишь мой неисправимый инфантилизм и дьявольское везение имитировали жизнь — надежду и будущее. Я успешно прозевал все знаки гибели, закрывая глаза и не желая видеть знамения. За мишурой триумфа пряталась непоправимая беда, под позолотой скрывалась ржавчина, под румянами — тлен: покойник выглядит даже лучше, чем при жизни, но это не повод отменять похороны.

Симуляция счастья — комбинация ингредиентов в правильной пропорции: деньги, удача плюс отрицание реальности с помощью алкогольных напитков крепостью выше сорока градусов — это не более, чем умелая декорация. Золотой серп месяца нарисован на бархате черного неба, натянутом на обычную фанеру, рыцарский замок на живописной скале, туманные сады и таинственное озеро с лунной дорожкой — никакое это не чудо, а простая оптическая иллюзия. И та тропа, что вьется и уходит в манящую даль, никуда она не ведет на самом деле. Никуда.

10

Кадры крушения поезда в замедленной съемке — мы все их видели, они завораживают. Я нахожусь в этом поезде, сижу в предпоследнем вагоне у окна. Я смотрю на вас. Вот я махнул вам рукой — теперь видите?

В ящичке письменного стола среди мелкого канцелярского хлама и откровенного мусора, мне удалось раскопать записную книжку с деловыми контактами. Я не открывал ее года три. Первым делом решил позвонить Саше Архутику. Он работал в «Молодой гвардии», и, помимо его «Собеседника», там издавались «Вокруг света», «Техника молодежи» и еще пяток журналов, куда я когда-то делал иллюстрации и рисовал обложки. После трех гудков трубку подняла тетка с провинциальным выговором.

— Архутик? — Она сочно гыкнула. — Это че такое?

— Главный художник журнала «Собеседник».

— Нету тут никаких журналов, — радостно оповестила она меня. — Компьютерная фирма тут — «Консул-М». Компьютер желаете приобрести? Элитной конфигурации?

Слово «компьютер» ей удалось выговорить настолько мерзко, что я тут же нажал отбой.

«Химия и жизнь» не отвечала. Андрей Луцкий уволился из «Кругозора», Васильев ушел из «Детской литературы» год назад, «Векта» перешла с книг на подарочные альбомы про сокровища Кремля и Золотое кольцо России. Никита из «Коммерсанта» обещал перезвонить, если что-нибудь проклюнется.

В рекламном отделе «Интуриста» ни Рады, ни Коноваловой не осталось, новый арт-директор хамовато заявил, что использует только фотографии, поскольку иллюстрации сегодня не актуальны.

Телефонные звонки напоминали прогулку по кладбищу.

«Работница» и «Крестьянка» честно признались, что у них просто нет бюджета, чтобы платить гонорары художникам. «Здоровье» ютилось в одной каморке, сдавая четыре редакционных комнаты под офис каким-то бандитам.

— Зачем бандитам офис? — по инерции спросил я.

Позвонил Димке Горохову, мы с ним учились на худ-графе, потом он ушел в галерейный бизнес. Года три назад я был на вернисаже в его галерее где-то в районе Чистых Прудов. Дела у Димки явно шли в гору.

— Старик! — обрадовался Горохов. — Не поверишь, как раз собирался тебе звонить!

Я закурил и благодушно выпустил дым в потолок.

— Слышал-слышал про твои победы, — Горохов говорил быстро и радостно. — Эдинбург — это ж триумф, старик! Европейский фе-

стиваль искусств — персональная выставка! И серия к «Страстям по Иоанну» — слов нет! Титан!

Горохов еще минуты три восторгался моими успехами, я его слушал, потом перебил:

— Димыч, ты говоришь, что хотел мне звонить?

Повисла неприятная пауза. Горохов кашлянул:

— Старик, мою галерею отжимают. — Он шумно вдохнул и скороговоркой продолжил: — Особняк в центре, девятнадцатый век, только ремонт сделал — в марте закончили, паркет реставрировал, печи голландские с изразцами...

Он выматерился. Горохов не ругался матом даже в институте.

— Старик, я помню, у тебя бабка была козырная, может, какие-то связи остались? У тебя... — Горохов запнулся. — В Минюсте? В прокуратуре? Или на Лубянке?

— Димыч...

— Наша юристка вчера уволилась. После встречи — представляешь? Встретилась с ними и заявление на стол. Не хочу, говорит, чтоб дети мои сиротами росли...

— Димыч...

Он снова выругался и замолчал.

— А ты Глебу звонил? — спросил я скучным голосом. — У него, вроде, папаша...

— Глеб свалил. В Германии он. В Дессау преподает.

— В Баухаузе?

— Ага, в нем самом.

11

Ванда появилась дней через пять после той встречи внизу, когда она ела невымытую клубнику из моего пакета. Был вечер, чуть позже девяти. Позвонили в дверь, в глазок был виден лишь силуэт, я собирался спросить — кто там, но она опередила меня.

— Это я, — сказала. — Соседка голая. С балкона. Открывай.

Она не шутила — почти не шутила. На ней была короткая ночная рубашка из какой-то белой марли, сквозь которую просвечивали соски и все остальное. Вдобавок она была босая.

— Ты что делаешь? — спросила она невинно. — Не очень занят?

— Зайди... — отступил, приглашая ее в квартиру.

— Нет, пошли ко мне. Я за тобой...

— А-а...?

— Бунич в Торонто. С делегацией. Пошли.

Не очень успешно я старался не пялиться на ее грудь. Незаметно вытер ладошку о штанину, за минуту я вспотел, как в бане.

— Да... Сейчас... Мне только нужно... — Я конвульсивно пытался соврать хоть что-то. — Я сейчас-сейчас... Сигареты только!

Пачка лежала в заднем кармане джинсов. Я быстро пробежался по коридору, заскочил в темную ванную. В зеркало прошипел зло темному отражению:

— Ты же сам хотел... Хотел же?

Никого из соседей не встретили. Темный двор был наполнен лиловыми сумерками с отсветом желтых окон. Ее босые пятки шлепали по асфальту. У подъезда она быстрым пальцем потыкала в кнопки кода, внутри пискнуло, потом звякнул замок.

— Год казни Жанны д'Арк. — Она толкнула железную дверь. — Легко запомнить.

Лифт остановился на восьмом этаже. Мы вышли, но вместо лестничной площадки сразу уперлись в стену. Стена была новой, с большой дверью из хромированного металла — как у дорогого модного сейфа. Такие обычно бывают в американских фильмах про ограбление банка.

В детстве мы с Колькой Корнеевым гоняли в хоккей на нашей лестничной клетке, двери наших квартир выступали в роли ворот, дистанция между ними была двадцать два метра — мы измеряли рулеткой. Бабка говорила, что у нас в доме меньше половины всей площади является жилой. Рассказывала, что за стенами квартир есть тайные комнаты и ходы, где раньше прятались чекисты (она называла их эмгэбэшниками) и записывали разговоры жильцов в блокноты. На всякий случай она понижала голос, косым взглядом показывая на решетку вентиляции под потолком. Они — зловещие чекисты без лиц под черными шляпами и в плащах с поднятыми воротниками — даже снились мне в ночных кошмарах: подобно призракам, они выплывали из стен и безмолвно сжимали кольцо вокруг моей кровати.

Ванда открыла дверь, мы вошли в неожиданно большую прихожую с аркой, по бокам которой стояли две искусственные пальмы

с фальшивыми кокосами. Макушками они упирались в потолок, а потолки у нас под четыре метра. В пластиковой листе правой пальмы притаилась рыжая макака — тоже ненастоящая. Я невольно ткнул пальцем в сторону пальмы.

— Не обращай внимания. — Ванда потянула меня вглубь квартиры. — Бунич это. Он из Челябинска.

За аркой оказалась огромная комната размером с актовЫй зал в нашей восьмой спецшколе. Мне этот Бунич нравился все меньше и меньше. Судя по всему, он купил весь восьмой этаж в подъезде. Вместе с лестничной площадкой.

На трех окнах висели бархатные шторы цвета засохшей крови с золотым турецким орнаментом. Пол был выложен белым мрамором, в углу громоздился камин с парой толстых колонн по бокам и кованой решеткой. За ней аккуратным манером были сложены березовые чурки.

— А куда... дым-то куда? — спросил я растерянно. — У вас что — своя труба?

— Да нет, — Ванда отмахнулась. — Бутафория. Не разрешили дымоход на улицу вывести. Даже через мэрию не смог пробить — представляешь?

Она снова потянула меня за собой. Из комнаты мы вышли в коридор, прошли через спортзал с зеркальной стеной от пола до потолка и рядом тренажеров напротив — тут воняло, как в отделении милиции: сапожной ваксой и мужским потом; за стеклянной дверью виднелась уютная сауна, мы прошли мимо и попали на кухню.

Тут все было белым — кафель, пол, шкафы, кухонные машины и агрегаты, вокруг длинного и белого стола стояли неудобные — даже на вид — табуретки с сиденьями, обтянутыми белой кожей. Ванда открыла холодильник и достала бутылку «Столичной». Я подошел к окну; небо на востоке погасло и стало пепельным, в изгибе неподвижной Яузы отражался кусок рыжего заката, за горбатым мостом плоским силуэтом чернели дома Садового кольца. Над ними висел прозрачный полумесяц.

Ванда протянула мне стакан, там было на глоток.

— А ты? — Я взял стакан.

— Потом. Пей.

Я выпил, поставил пустой стакан на край стола. Пальцы были в краске. Хорошая водка, отметил про себя. Прохладная, но не ле-

дяная, качественную водку только так нужно. Чистую майку надо было надеть, черт...

— Пошли... — Ванда кивнула в сторону двери.

Я не ожидал, что все произойдет настолько буднично.

Вопреки тещиным гипотезам, я не изменял ее дочке. Ни разу. И дело не в том, узнала бы Яна о моей супружеской неверности или нет, — дело было во мне. Достаточно того, что об этом знал я.

Помню, отец привез мне джинсовый костюм — темный деним, медные заклепки, кожаный ярлык с ковбоями, которые хлещут кнутами коней; в школу я пришел козырем, еще бы — настоящий «левис», а не какой-то там «супер райфл» из «Березки». Чудо закончилось в тот момент, когда на маленькой этикетке внутри штанов я разглядел крошечную надпись «Made in China». Китай? Джинсовый костюм из Китая?

Нет, я не перестал носить костюм, но праздник был испорчен.

